

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ЗАПИСКА О КНЯЗЕ
ВЯЗЕМСКОМ, ИМ
САМИМ
СОСТАВЛЕННАЯ

Петр Андреевич Вяземский

Записка о князе Вяземском, им самим составленная

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24511625

Аннотация

«Обращая внимание на мое положение в обществе, вижу, что оно в некотором отношении может показаться неприязненно в виду правительства: допрашивая себя, испытывая свою совесть и свои дела, вижу, что настоящее мое положение не естественное, мало мне сродное, что оно более насильственное, что меня, так сказать, втеснили в него современные события, частные обстоятельства, посторонние лица и, наконец, само правительство, которое, приписав мне неприязненные чувства к себе, одним предположением уже облекло в сущность и дело то, что, может быть, никогда не существовало...»

Содержание

Петр Вяземский

Записка о князе

Вяземском, им

самим составленная

1

Обращая внимание на мое положение в обществе, вижу, что оно в некотором отношении может показаться неприязненно в виду правительства: допрашивая себя, испытывая свою совесть и свои дела, вижу, что настоящее мое положение не естественное, мало мне сродное, что оно более насильственное, что меня, так сказать, втеснили в него современные события, частные обстоятельства, посторонние лица и, наконец, само правительство, которое, приписав мне неприязненные чувства к себе, одним предположением уже облекло в сущность и дело то, что, может быть, никогда не существовало. Как бы то ни было, нынешнее мое невыгодное положение есть более следствие того, что некогда бы-

¹ Следующая записка была чрез Жуковского доставлена гр. Бенкендорфу, им доложена государю, который приказал препроводить ее в Варшаву к в. к. Константину Павловичу. В письме к к. Голицыну с именами Греча и Булгарина упоминаю и Воейкова. Не очень стою за честность его, но обдумавши дело, прихожу к заключению, что несправедливо назвал его. Тут, вероятно, действовал один Булгарин, а Греч разве только что потакал.

ло, нежели непосредственное следствие того, что есть и быть не переставало. Отдав отчет в некоторых эпохах жизни моей, в некоторых свойствах моего характера, исповедовав откровенно образ мыслей и чувств моих, я, может быть, успею разуверить тех, которые судят более меня по предубеждениям, данным обо мне недоброжелательством, нежели по собственным моим делам. В сей надежде решил я составить о себе записку и предаю ее беспристрастию моих судей.

До 1816-го года был я не замечен правительством, темная служба моя, пребывание в Москве, хранили меня в неизвестности. В то время не было еще хода на слово «либерал», и потому мои тогдашние шутки, эпиграммы пропадали так же невинно, как и невинно были распускаемы. Приезд в Москву Николая Николаевича Новосильцева переменял мою судьбу. По некоторым благородным преданиям о прежней службе его, я уважал Новосильцева. Между тем мне всегда казалось, что мне нельзя служить с удовольствием иначе, как под начальством человека просвещенно образованного, лично мною уважаемого, и потому, остававшись в долгом бездействии, я стал искать случая служить при нем. В этой взыскательности, в этом, так сказать, романическом своенравии, заключается, вероятно, одна из главных причин моих неудовольствий. Не видя на поприще властей человека, которому мог бы я предаться совестью и умом, после ошибки своей и разрыва с службою под начальством Новосильцева пребывал я всегда в нерешимости и не вступал в службу, хотя

многие обстоятельства и благоприятствовали моему вступлению. Я был определен к Новосильцеву и приехал в Варшаву вскоре после государя императора. Открылся сейм. На меня был возложен² перевод речи, произнесенной государем. Государь, увидя меня на обеде у Новосильцева, благодарил меня за перевод. С того времени государь при многих случаях изъявлял мне лично признаки своего благоволения. Вступление мое, так сказать, в новую сферу новые надежды, которые открывались для России в речи государевой, характер Новосильцева, лестные успехи, ознаменовавшие мои первые шаги, все вместе дало еще живейшее направление моему образу мыслей, преданных началам законной свободы и началам конституционного монархического правления, которое я всегда почитал надежнейшим залогом благоденствия общего и частного, надежнейшим кормилом царей и народов. Вслед за этим был поручен мне перевод на русский язык Польской хартии и дополнительных к ней уставов образовательных. Спустя несколько времени, поручено было Новосильцеву государем императором составить проект конституции для России. Под его руководством занялся этим делом бывший при нем французский юрист Deschamps [Дешан]: переложение французской редакции на русскую было возложено на меня. Когда дело подходило к концу, Новосильцев объявил мне, что пошлет меня с оконченною рабо-

² Не вполне. За краткостью времени речь была передана по клочкам чиновникам канцелярии.

тою к государю императору в Петербург и представит меня как одного из участников в редакции, дабы государь император мог в случае нужды потребовать от меня объяснения на проект и вместе с тем передать мне свои высочайшие замечания для сообщения ему, Новосильцеву. Намерение послать меня с таким важным поручением огласилось в нашей канцелярии; в ней имел я недоброжелателей, открылись проiski: старались охолодить Новосильцева к возложенному на него делу, ко мне, к отправлению меня в Петербург. Дело, которое сначала кипело, стало остывать. Немало смеялись над Прадтом, сказавшим, что Наполеон однажды вскричал: «Un homme de moins et j'étais encore le maitre du monde – et cet homme c'est moi», – прибавляет Прадт. Пускай посмеются и надо мною: но едва ли не в праве сказать: Не будь я в канцелярии Новосильцева, и Россия имела бы конституцию³.

Не помню, когда проект, у нас составленный, был поднесен государю. В проезд мой в Петербург 1819-го года имел я счастье быть у государя в кабинете его на Каменном Острове. Велено мне было приехать в четыре часа после обеда за письмом к Новосильцеву. Государь говорил со мною более получаса. Сначала расспрашивал он меня о Кракове, куда я незадолго перед тем ездил; оправдывал свои виды в рассуждении Польши, национальности, которую хотел сохранить в ней, говоря, что меры, принятые императрицею Екатериною

³ Канцелярская зависть ко мне затормозила дело. То есть не канцелярская, а одного Байкова.

при завоевании Польских областей, были бы теперь несогласны с духом времени; от политического образования, данного им Польше, перешел он к преобразованию политическому, которое готовит он России. Сказал, что знает участие мое в редакции проекта Русской конституции, что доволен нашим трудом, что привезет его с собою в Варшаву и сообщит критические замечания свои Новосильцеву, что он надеется непременно привести это дело к желаемому окончанию, что на эту пору один недостаток в деньгах, потребных для подобного государственного оборота, замедляет приведение в действие мысли для него священной; что он знает, сколько преобразование сие встретит затруднений, препятствий, противоречия в людях, коих предубеждения и легкомыслие приписывают сим политическим правилам⁴ многие бедственные события современные, когда, при беспристрастнейшем исследовании, люди сии легко могли бы убедиться, что беспорядки оные проистекают от причин совершенно посторонних. Предоставляю судить, какими семенами должны были подобные слова оплодотворить сердце, уже раскрытое к политическим надеждам, которые с того времени освятились для меня самою державною властью. Здесь должно прибавить еще, что в самый тот приезд мой в Петербург я был соучастником и подписчиком в записке, подан-

⁴ Примечание. Desordres qui leur seraient comme inherents tandis que etc., etc. [Беспорядки, которые им были как бы присущи, в то время как... и т. д. и т. д.] Говорил он по-французски. В этих последних словах был, вероятно, намек на противоположные мнения Карамзина.

ной государю, по предварительному его на то соизволению, от имени графа Воронцова, князя Меншикова и других, в которой всеподданнейше просили мы его о позволении приступить к теоретическому рассмотрению и к практическому решению важного государственного вопроса об освобождении крестьян от крепостного состояния. Государь, говоря после с Карамзиным о том, что желание освобождения крестьян разделяется многими благомыслящими русскими помещиками, назвал ему в числе других и меня. Тут Карамзин и узнал о поданной нами бумаге и о участии моем в ней, потому что мы обязались держать попытку нашу в тайне, пока не последует на нее решительное высочайшее согласие. Генерал-адъютант Васильчиков, сперва подписавший эту бумагу, а на другой день отказавшийся от своей подписи, вероятно, был главнейшею причиною неудачи в деле, которое началось под счастливым знаменем⁵.

Сим кончается пора моих блестящих упований. Вскоре после того политические события, омрачая горизонт Европы, набросили косвенно тень и на мой ограниченный горизонт. Государь приехал в Варшаву. Открылся второй Сейм. Он уже не был празднеством для Польши, ни торжеством для государя. Разными мерами, не расчетливо госу-

⁵ Примечание. Посредником и, так сказать, докладчиком между нами и государем был Мих. Сем. Воронцов. Илар. Вас. Васильчиков объяснял свое отступление особенно тем, что он не отделенный сын при отце и потому не считает себя в праве вмешиваться в вопрос помещико-крестьянский. Записку нашу писал, вероятно, Николай Тургенев.

дарственную пользою внушенными, привели польские умы в некоторое раздражение, поселили в государе недоверчивость. Поляками управлять легко, а особливо же русскому царю. Они чувствуют свое бессилие. С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Они народ нервический и щекотливо-раздражительный. Наполеон доказал, что легко их заговаривать. В благодарность за несколько политических мадригалов, коими ласкал он ее самохвальное кокетство, Польша кидалась для него в огонь и в воду. Благомыслящие из польских либералов говорили мне, что поляки должны всегда иметь на виду, что царь конституционный в Польских преддвериях, император самодержавный дома в России. Эта истина была слишком очевидна и служит обеспечением. Но видно посредники между государем и Польшею поступали ошибочно: верно ни государь не хотел размолвки с нею, ни еще того вернее, она с ним, но между тем в речи государя при закрытии второго сейма размолвка огласилась и разнеслась с высоты трона по Европе, которая всегда радуется домашним ссорам в России, как завистливые мелкопоместные дворяне радуются расстройству в хозяйстве богатого и могущего соседа. Я был любим поляками, в числе немногих русских был принимаем в их дома на приятельской ноге. Но ласки отличнейших из них покупал я не потворством и не отриновением национальной гордости, напротив, в вопросах, где отделялась русская польза от польской, я всегда крепко стоял за первую и вынес не

один жаркий спор по предмету восстановления старой Польши и отсечения от России областей, запечатленных за нами кровью наших отцов. Дело то, что, живя в Польше, не ржал я в запоздалых воспоминаниях о поляках в Кремле или русских в Праге, а посреди современников и соплеменных я был с умом и душою, открытыми к впечатлениям настоящей эпохи. Должно еще признаться, что мое короткое сношение с поляками казалось тем более на виду, что я был из числа весьма немногих русских в Варшаве, с которыми образованные из поляков могли иметь какое-нибудь сближение. Я всегда удивлялся равнодушию нашего правительства в выборе людей на показ перед чужими. Без сомнения, надежнейшая порука наша есть дубина Петра Великого, которая выглядывает из-за голов наших у европейских политиков: могущество может обойтись без дальнейшего мудрствования, но нравственное достоинство народа оскорбляется сим отречением от народной гордости. Самая палица Алкида была принадлежность полубога. Русская колония в Варшаве не была представительницею пословицы, что должно товар лицом продавать. В числе русских чиновников мало было лиц обольстительных, и потому польское общество не могло обрусеть. Частные лица не содействовали мерам правительства и общежитие не довершало дела, начатого политикою. Эта разногласица должна была иметь пагубные следствия. Не знаю, от сей ли связи моей с Польшею или от других причин, но судьба моя потускнела в одно время с судьбою Поль-

ши. Государь в это пребывание в Варшаве не удостоил меня ни раза своего личного внимания, хотя и был я награжден чином. На другой день отъезда его призвал меня к себе Новосильцев и рассказал мне следующее: «Вчера Государь, прощаясь со мною, спросил у меня: „Не знаешь ли, что Вяземский имеет против меня? он во все время пребывания моего здесь бегал от меня, так что не удалось мне сказать ему ни слова“». Не знаю, что отвечал ему Новосильцев, но я из отзыва государя заключил, что я был обнесен государю и что он, и не желая показать, что не дорожит мнением, которое ему обо мне внушили, и вместе с тем, не желая и меня оскорбить, может быть, напрасно, искал благоприятной уловки для соглашения двух противоречий. Государь поехал на Тропавский конгресс. И тут, если бы не канцелярские происки, то, вероятно, судьба моя впоследствии не поворотилась бы так круто. Служба моя в Варшаве начала быть очень не по мне. Поверив опытом предание, которому я прежде поработился суеверно, увидел я, что ни ум, ни совесть мои, не могут подчиниться начальнику, избранному мною. Граф Каподистрия был ко мне хорошо расположен. Я стал просить его взять меня к себе из канцелярии Новосильцева, хотя на время Конгресса. Он, понимая мое положение, охотно согласился содействовать моим желаниям: говорил обо мне Новос[ильцеву], но ходатайство осталось без успеха, вероятно, по прежним канцелярским проискам. С Тропавского конгресса решительно начинается новая эра

в уме императора Александра и в политике Европы. Он отрекся от прежних своих мыслей; разумеется, пример его обратил многих. Я (хотя это местоимение тут и очень неуместно, но должно же употребить его, когда идет дело обо мне) остался таким образом приверженцем мнения уже не торжествующего, но опального. Не вхожу в исследование, полезно ли было сие обращение или превращение господствующих мнений, но, кажется, нельзя обвинить меня, что я по совести своей не пристал к новому политическому шизму. Нельзя не подчинить дела свои и поступки законной власти. Но мнения могут вопреки всех усилий оставаться неприкосновенными. Русская пословица говорит: у каждого свой царь в голове. Эта пословица не либеральная, а просто человеческая. Как бы то ни было, но положение мое становилось со дня на день затруднительнее. Из рядов правительства очутился я невольно и не тронувшись с места в ряду будто оппозиции. Дело в том, что правительство перешло на другую сторону. В таком положении все слова мои (действий моих никаких не было), бывшие прежде в общем согласии с господствующим голосом, начали уже отзываться диким разногласием. Эта частная несообразность, несозвучность была большинством выдаваема за мятежничество. С одной стороны, обнаруживалась нетерпимость и преследование нового обращения; с моей, признаюсь охотно, обнаруживался, может быть, излишний фанатизм страдальчества за гонимое исповедание. Письма мои, сии верные, а часто и предательские

зеркала моей внутренней жизни, отражали сгоряча впечатления, коими раздражала меня моя внешняя жизнь. Письма мои с того времени находились под надзором: я узнал после, что некоторые места из оных были превратно, если не злоумышленно, перетолкованы. Часто многое из них оставалось и недоступно понятию тех, которым поручено было их читать. Нет сомнения, что его высочеству великому князю не было досужно читать все мои письма, а из канцелярии его как военной, так и гражданской, решительно не было ни одного человека, который мог бы понимать своенравный слог писем, написанных шутливо и бегло⁶. Но о свойстве моих писем и вообще о степени ответственности, которую можно определить частной переписке, буду говорить после. Письма в жизни других – эпизоды, у меня – они история моей жизни. Я поехал в Москву, и тогда, как узнал после, был, по предписанию из Варшавы, предан особому и тайному надзору полиции. Тут вскоре поехал я в Петербург обратным путем в Варшаву, где хотел, устроив свои денежные дела, подать просьбу в отставку. Перед самым отъездом получил я письмо официальное или полуофициальное на французском языке и собственноручное от Новосильцева, в котором объявляет мне гнев государя императора. На меня пало два обвинения.

Первое, что до сведения государя императора, в проезд

⁶ Примечание. Мне после говорили, что в. к., прочитав эти слова, сказал: «Хорошо Вяземский отдал канцелярию мою».

его чрез Варшаву, доведено было, что в разговорах моих я горячо защищал мнения, произносимые в Палате французских депутатов теми из членов, коим приписываются все бедствия, постигшие Францию. Второе, что, выезжая из Варшавы, не явился я откланяться к великому князю. В заключение сказано было, что государь, желая чтоб мнение чиновника, употребленного правительством, не было в разногласии с видами его и чтобы, с другой стороны, не подавал он примера неуважительности к особе его августейшего брата, запрещает мне въезд в Варшаву. В этих двух обвинениях оправдываюсь тем, что Франция не была тогда еще раздираема бедствиями революции, что обе партии, разделявшие и разделяющие и поныне палату депутатов и самые умы Франции, входили неизбежно в сущность стихии правления, существующего в ней, что сие тем доказывается, что часто король из среды нынешних противников министерства, и следовательно правительства, избирает своих завтрашних министров. Поэтому бескорыстным пристрастием к талантам той или другой стороны, в тяжбе французских мнений я никак не мог видеть русское преступление; впрочем, и самые разговоры мои о таких предметах не могли иметь никакой политической важности: они возникали и умирали в приятельских беседах. Не знаю, какую таинственную силою воскресили их из мертвых и поставили их против меня обвинительными привидениями. Что же касается до другого обвинения, то клянусь совестью, что никак не полагал обязанно-

стью явиться к великому князю перед отъездом моим и не знал, что это в числе установленных обыкновений. Напротив, полагая, что все мои сношения с великим князем существуют только в силу его милостивого благорасположения ко мне, то, уже лишенный оного и чуждый ему по роду службы своей, я даже и не имел права, так сказать, насильственно поддерживать сии сношения, для него тогда уже неудобные. Письмо Новосильцева взволновало меня, хотя, отдам ему справедливость, и было оно приправлено выражениями его сожаления, что он лишается во мне чиновника, которого всегда уважал. Выше сказал я, что думал и прежде оставить Варшавскую службу, но мне казалось, что могли поступить со мной иначе. Неприятный великому князю я, конечно, не мог быть оставлен в Варшаве, а государь император не мог колебаться в чувствах и выборе. Я должен был быть удален, но не изгнан позорно, когда дети мои и дела мои требовали присутствия моего, и весь дом мой еще был в Варшаве. Дождавшись возвращения моего, Новосильцев изъявил бы мне о воле государя, чтоб я переменял службу и местопребывание, и все бы обошлось без огласки. Подобное снисхождение ко мне тем было бы естественнее, что по самому письму Новосильцева видно, что не имели достаточного обвинения против меня, или имели такие, в которых не хотели сознаться. В первую минуту волнения написал я прошение на высочайшее имя об отставке моей из звания камер-юнкера. Сей крутой и необыкновенный разрыв со службою запечат-

лел в глазах многих мое политическое своеволие. Карамзин был тогда в Царском Селе, и император также. Я уведомил Карамзина о случившемся со мною, когда уже подано было мое прошение, и заклинал его об одном, не ходатайствовать за меня при государе. С свойственным ему благородством и нежным участием в судьбе близких его сердцу он просил у государя не помилования мне, но объяснения в неприятности, постигнувшей меня. Письмо Новосильцева не казалось ему достаточным, и он подозревал меня в утаении от него вины более положительной. Государь подтвердил с некоторыми развитиями то, что сказано было в письме, и прибавил, что, несмотря на то, я могу снова вступить в службу и просить, за исключением Варшавы, любого места, соответственно моему чину. Я упорствовал в своем намерении, вопреки советам и убеждениям Карамзина. Сим кончилось мое служебное поприще и началось мое опальное. Вот во всей истине мое варшавское приключение, которое и ныне еще упоминается мне в укоризну и придает какую-то бедственную известность моему имени, когда друзья мои говорят в мою пользу сановникам, знающим меня по одному слуху. Говорю только о сущности и официальнойности моего приключения, а впрочем до сей поры не знаю его прикладных подробностей; а в подобных делах тексты маловажны; вся важность в тайных пояснительных комментариях. Могу по крайней мере сказать решительно, что в поведении моем в Варшаве не было ни одного поступка предосудительного; в связях моих ни-

чего враждебного и возмутительного против правительства и начальства. Я поддержал там с честью имя Русского, и, прибавлю без самохвальства, общее уважение ко мне и сожаление, что меня удалили из Варшавы, показывают, что я не был достоин своей участи и что строгая мера, меня постигшая, была несправедливостью частною и ошибкою политической. Могу сослаться на письмо ко мне князя Заиончека, которого нельзя подозревать в невоздержанном либерализме. Я писал ему из Москвы по делу постороннему; он, отвечая на письмо мое, отзывался о моем пребывании в Варшаве и о сожалении, от своего имени и всех сограждан, что меня уже там нет, в выражениях самых лестных. С того времени я более жил в Москве и предался занятиям литературным. Эпиграммы мои, звание критика навлекли на меня недоброжелателей. Имя мое, оглашенное у правительства, показалось доступною поживкою людям, кои служат правительству, стараясь уверить его, что у него много противников. В новое доказательство тому, упомяну о следующем. Несколько дней после отставки моей государь, по обыкновению своему гуляя с Николаем Михайловичем Карамзиным в Царскосельском саду, сказал ему однажды: вот вы заступаетесь за князя Вяземского и ручались, что в нем нет никакой злобы, он на днях написал ругательные стихи на правительство. Карамзин, пораженный сим известием, сказал, что спорить не смеет, но, зная меня и мой характер, не может поверить, чтобы я именно в минуту оскорбления и огласки стал из-

ливать свое неудовольствие в пасквилях. Государь обещал принести на другой день письменное доказательство и в самом деле показал Карамзину тщательно и красиво переписанные стихи, ему неизвестные, где выведено было сатирическое сравнение Петербурга с Москвою. По счастью, между прочими стихами, Карамзин встретил такие, которые отдельно давно были ему известны. Он сказал о том государю. Что же вышло? Государю представили за новые стихи, написанные мною лет за десять перед тем, и, следовательно, шалость моей первой молодости. Карамзин сказал тут государю, что в тот же день дело объяснится, что он меня ждет из Петербурга к обеду, чтобы отпраздновать вместе день моего рождения, и спросит меня о стихах. Государь, по редкой черте добродушия и тонкой вежливости, просил Карамзина оставить это дело и не расстраивать радости семейного свидания неприятными впечатлениями. Промышляющие моими политическими мнениями начали промышлять и мою частную жизнь. Я знаю, что государь отзывался людям, которые ему говорили обо мне, с благонамеренностью, как о человеке не строгого и не трезвого жития⁷. Я никогда не любил ни ханжить, ни шарлатанить своими мнениями и нравами. Не почитаю себя в праве оспаривать у кого бы то ни было награды целомудрия, но решительно и гласно говорю, что и в самые молодые лета мои не бывал я никогда распутным

⁷ Кн. Зенеида Волконская, жившая тогда в Москве и с которою был я в приятельских отношениях, говорила государю с участием о моем житье-бытье.

и развратным. Любя заниматься по утрам, любил я всегда поздно обедать; ранние желудки некоторых московских бригадиров, зная, что я иногда встаю со стола в седьмом часу вечера, люблю продолжать застольные разговоры за рюмкою вина, в кругу близких приятелей, не могли переварить моих поздних обедов и, вероятно, почли их попойками. Впрочем, после я также имел случай увериться, что государь был ко мне расположен благосклоннее. Убежден людьми мне близкими, просил я наконец у государя чрез Карамзина в случае вакансии вице-губернаторское место в Ревеле, который мне полюбился после лета, проведенного мною для морских купаний. Государь приказал обещать мне это место, когда оно упразднится. Если же государь и продолжал до конца быть не совсем хорошего мнения обо мне, то и это понимается. Последние годы царствования его были годами недоверчивости и опасений. Глухое роптание предвещало, что волнение зрело: подозрения его не были определительны и могли падать на меня наравне с многими другими, в особенности же после моей варшавской огласки. Но и в таком случае должен я признаться с благодарным уважением к его памяти, что и подозрение его было незлобно. С ходатайства Карамзина дал он сейчас высочайшее соизволение свое на покупку имения моего в казенное ведомство, когда он узнал, что я прошу о том для устройства дел своих, пришедших в упадок. Как бы то ни было и на каком замечании я у правительства ни находился, но я не был тревожим в последние годы

царствования покойного императора. 19-ое ноября 1825 года отозвалось грозно в смутах 14-го декабря. Сей бедственный для России день и эпоха кровавая, за ним следующая, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось на его роковые скрижали. Сколь ни прискорбно мне было, как русскому и человеку, торжество невинности моей, купленное ценою несчастья многих сограждан и в числе их некоторых приятелей моих, падших жертвами сей эпохи, но по крайней мере я мог, когда отвращал внимание от участи ближних, поздравить себя с личным очищением, совершенным самыми событиями. Мне казалось, что я в глазах правительства отъявленный крамольник, бывший в приятельской связи с некоторыми из обвиненных и оказавшийся совершенно чуждым соумышления с ними, выиграл решительно свою тяжбу. Скажу без уничижения и без гордости: имя мое, характер мой и способности мои могли придать некоторую цену завербованию моему в ряды недовольных, и отсутствие мое между ими не могло быть делом случайным и от меня независимым. Это должно было переменить мнение обо мне. По странному противоречию, предубеждение против меня не ослабло и при очевидности истины. Мне известно следующее заключение обо мне: отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других⁸.

⁸ Это сказал Блудову император Николай. Некоторые попытки, разумеется, весьма неопределенные и загадочные были пущены на меня, но нашли во мне

Благодарю за высокое мнение о уме моем; но не хочу променять на него мое сердце и мою честь. В таких словах отзываются или неумышленность неведения, или эхо замысловатой клеветы. Нет, те, которые меня знают, скажут, что ни сердце, ни ум мой не свойства расчетливого и промышленного. Если я был бы хоть и неизвестным содействующим лицом в бедственном предприятии, то верно был бы налицо сотоварищей в несчастье. Ни в каком случае меня не пощадили бы: ни подсудимые, потому что они не пощадили никого, ни судии, потому что, еще того вернее, я не имел в них ни одного доброжелателя. Кстати о характерических отзывах, обо мне распускаемых, припомню еще одно. Мне известно, что до правительства было доведено в последний мой приезд в Петербург слово, будто сказанное Александром Пушкиным обо мне: «вот приехал мой Демон!» Этого не сказал Пушкин

твердое отражение. Я всегда говорил, что честному человеку не следует входить ни в какое тайное общество, *ne fut ce que pour ne pas risquer de se trouver en mauvaise compagnie* [Хотя бы для того, чтобы не очутиться в дурном обществе (фр.)]. Всякая принадлежность тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной воле вожаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя. *Une grande patrie des societes secretes se composent de beaucoup de niais, et de quelques ambitieux malintentionnes* [Большая часть тайных обществ состоит из множества глупцов и из нескольких честолюбцев и злонамеренных (фр)]. Пропагандисты и вербовщики находили, между прочим, что я недостаточно ненавижу немцев, и заключили, что от меня проку ожидать нечего. – Мне говорили после, что Якубович и Александр Бестужев были откомандированы в Москву, чтобы меня ощупать и испытать. Оба у меня обедали. Разговор коснулся немцев в России. В продолжение споров я сказал наотрез, что не разделяю этих *lieux communs* [общих мест], которые в ходу у нас.

или сказал да не так Он не мог придать этим словам ни политический, ни нравственный смысл, а разве просто шуточный и арзамасский, если только и произнес их. (В Арзамасе прозвище мое Асмодей.) Они ни в духе Пушкина, ни в моем. По сердцу своему, он ни в каком случае не скажет предательского слова, по уму, если и мог бы он быть под чьим влиянием, то не хотел бы в том сознаться, а я ни чьим, а еще менее пушкинским соблазнителем быть не могу. Я был неосторожен, в мнениях своих заносчив, за себя, но везде, где только имел случай, умерял всегда невоздержность других. Ссылаюсь на письма мои, которые столько раз бывали в руках правительства. Сюда также идет опровержение донесения, или просто лживого доноса, представленного нынешнему правительству о каком-то тайном, злонамеренном участии, или более направлении в издании «Телеграфа». Не стану входить в исследование: может ли быть что-нибудь тайное, злоумышленное в литературном действии, когда существует цензура, мнительная, строгая и щекотливая, какова наша; скажу просто: я печатал сочинения свои стихами и прозою в Телеграфе, потому что по условию, заключенному на один год с его издателем, я хотел получить несколько тысяч рублей и таким оборотом заменить недоимки в оброке с крестьян наложением добровольной подати на публику. В этих несправедливых притязаниях, как и в последнем доносе на меня, также по поводу журнала мне неизвестного, который будто готовлюсь издавать под чужим именем, вижу одно гнусное беспо-

койство некоторых журналистов, позорящих деятельностью своею русскую литературу и русское общество... Они помнят мои прежние эпиграммы, боятся новых, боятся независимости моего прямодушия, когда предстоит мне случай вывести на свежую воду их глупость или криводушие, боятся некоторых прав моих на внимание читающей публики, боятся совместничества моего для них опасного, и в бессилии своем состязаться со мною при свете дня, на литературном поприще, они подкопываются под меня во мраке, свойственном их природным дарованиям и насущному ремеслу. Вот, однако же, тайные пружины, которые, так сказать, без ведома власти настроивают гнев ее против гражданина, несмотря на преданность сих мнимых прислужников ее, конечно, более их достойного снисходительности и внимания правительства. Не знаю, их ли злоба или злоба других, но направление ее в ударе, нанесенном мне в последнее время, достигло до высшей степени. В сообщении по высочайшей воле, доставленном от графа Толстого к князю Голицыну в Москву, по поводу журнала, о котором я не имел понятия, нанесены чести моей живейшие оскорбления. «Никто без суда да не накажется», а разве обесчестить человека не есть наказание, и тем тягостнее, когда оно не гласно. Гласная несправедливость носит в себе предохранительное и удовлетворительное противоядие, которое спасает жертву ей подпавшую; но полугласность, как удар незримого врага, неизбежим и неотразим. Поносительное для меня отношение графа Тол-

стого известно во многих канцеляриях. Разве такая оскорбительная полугласность не есть лютейшее наказание для человека, дорожащего своим именем? Судебным порядком я не мог подлежать наказанию. Следовательно, я был наказан без суда и без справедливости. И все это последствие отступлений от правосудия из какого источника истекает? Из корыстолюбия каких-нибудь подлых газетчиков, которые боятся, что новый газетчик отобьет у них подписчиков. Правительство в таком случае поступает и вопреки благонамеренным видам, нарушением общей справедливости, лицеприятными исключениями, и вопреки пользе просвещения, стесняя деятельность и совместничество умов. Злоупотреблением имени моего наказан и издатель газеты предполагаемой, которому запретили ее издавать, думая, что он находится в каких-то сношениях со мною, когда я ни лица, ни имени его не знаю. В этом отношении еще замечу, что правительство, стесняя мои занятия литературные, лишает меня таким образом общего права пользоваться моею собственностью на законном основании. Такое нарушение справедливости не входит, без сомнения, в намерения правительства, но не менее того истекает из мер, им принимаемых. Что же касается до приговора, мне изреченного, не знаю, до какой степени имеют право позорить имя человека за поступки, не входящие в число ни гражданских, ни политических преступлений: заблуждения, в которых можно каяться духовному отцу, не подлежат расправе светской власти. Но как бы то ни

было могу сказать решительно, что ни в каком отношении не заслуживаю выражений, употребляемых обо мне. «Развратная жизнь, недостойная образованного человека, предосудительность поведения, которое может служить к соблазну других молодых людей и вовлечь их в пороки», суть обвинения такого рода, что примененные ко мне, они, без сомнения, возбудят негодование каждого честного человека, меня знающего, и сожаление, что правительство слишком легкое к выдумкам клеветы основывает мнения свои о людях на подобных показаниях. Удивляюсь, что граф Толстой, хотя и был бы он в этом случае одним безусловным исполнителем, мог без всякой оговорки, без малейшей попытки объяснения подписать свое имя под таким поносительным приговором. Или нет в нем памяти, или должен он знать меня таким, каким знал в долгом пребывании своем в Москве. Он знал мои связи, смею сказать уважение, которым пользуюсь в обществе и которым обязан своему характеру, именно поведению своему, ныне его же рукой опятненному, а не блеску почестей или богатства, часто заменяющих в глазах света недостаток в качествах не столь случайных. Правительство лучше моего знает, кто мои недоброжелатели и тайные враги: пускай велит оно исследовать, кого могу назвать в числе людей ко мне благорасположенных и в числе друзей своих и эту поверкою оно, надеюсь, убедится, что имею полное право равно гордиться и неприязнью одних и дружбою других, которую умел я заслужить. Повторяю сказанное мною в

письме к князю Голицыну в ответ на сообщенную мне бумагу графа Толстого. Я должен просить строжайшего исследования поведению моему. Повергаю жизнь мою на благорассмотрение государя императора, готов отвечать в каждом часе последнего пребывания моего в Петербурге, столь неожиданно оклеветанного!

Ныне слышу уже, что обвинение меня в «развратной жизни» устранено, а говорят о каком-то письме моем или сочинениях моих, попавшихся в руки императора и коих содержание должно мне повредить. Обвинение обвинению рознь. На обвинение в предосудительности нравов моих и поведения моего в Петербурге прошу и суда и ограждения меня вперед от подобной клеветы наказанием клеветников. Если обвинение падает на какое-нибудь мое сочинение, прошу объяснений и потребовать меня к ответу; если на мои письма, прошу выслушать мое оправдание. Возмутительных сочинений у меня на совести нет. В двух так называемых либеральных стихотворениях моих: «Петербург» и «Негодование» отзывается везде желание законной свободы монархической и нигде нет оскорбления державной власти. Первое кончалось воззванием к императору Александру: писано оно было в Варшаве, вскоре после первого сейма. Тогда гласным образом ходило оно по Петербургу. Второе менее известно: я узнал после, что правительству донесено было о нем, но не знаю, было ли оно доставлено, но если ничего к нему не прибавили «добровольные издатели или преда-

тели» (не editori, a traditori), то не боюсь заключений, которым оно даст повод. Писано оно было в Варшаве: в самую эпоху борьбы или перелома мнений, и, разумеется, должно носить оно живой отпечаток мнений, которым я оставался предан и после их падения. В разные времена писал я эпиграммы, сатирические куплеты на лица, удостоенные доверенности правительства, но в них ничего не было мятежного, а просто светские насмешки. Такие произведения не могут быть почитаемы за выражение целой жизни и служить вывеской человека; они беглые выражения минуты, внезапного впечатления, и отпечатление их на умы также есть минутное. Соглашаюсь, что в глазах правительства они должны казаться предосудительными и некоторым образом нарушают согласие, которое для общего благоденствия господствовать должно между правительством и управляемыми. Но в этом отношении прямодушное исследование обязано разборчиво отделить «проступок» от «преступления», шалость ума от злоумышления сердца и не столько держаться «буквы», сколько «духу». Теперь приступаю к письмам моим, единственному обвинительному факту в тяжбе моей, который не могу опровергнуть и в котором должен прямодушно оправдываться. Письма мои должны разделиться на два разряда, согласно с двумя эпохами жизни моей: службы и отставки. Невоздержность письменных моих мнений во время службы непростительна. Такого свойства оппозиция у нас, где нет законной оппозиции, есть и несообразность и даже род пре-

дательства. Это походит на действие сатира, который в одно время дует холодом и теплом. Гласно служить правительству, и следовательно, предать себя орудием в его руки, а под рукою, хотя и без злоумышления, действовать против него во всяком случае не благовидно. В случаях противоречия кровным мнениям своим и задушевным чувствам с званием, с обязанностями, на себя принятыми, должно по возможности принести покорное сознание правительству или оставить службу. Следовательно, в этом отношении я был виноват: правительство какими способами бы то ни было поймало меня *en flagrant-delit* [на месте преступления], и я должен нести наказание вины моей. Это не сомнительно в глазах холодного и строгого суда, но есть справедливость, которая выше правосудия. Теперь для нравственного исследования предосудительности моих писем должно бы подвергнуть их сполна не одностороннему рассмотрению, взвесить на весах беспристрастия те мнения и выражения, которые могут быть ходатаями за меня, судить о всей переписке моей, как будут судить о всей жизни человека на страшном суде, а не так как судит инквизиция по отдельным поступкам, по отрывкам жизни, составляющим в насильственной совокупности уголовное дело, тогда как в целом порочность сих отрывков умеряется предыдущими и последующими. Должно бы обратить внимание на время, в которое писаны были сии письма, и может быть волнение, в них отзывающееся, отголосок тогдашней эпохи, отпечаток тогдашнего перелома и раздра-

жения оправдывается самою сущностью событий. В другом отделении моей переписки, кажется, предстоит мне более способов к оправданию. Со времени моей отставки, не принадлежащий уже к числу исполнителей правительственных мер, я полагал, что могу свободнее судить о них. К тому же, что есть частное письмо? Беседа с глазу на глаз, род тайной исповеди, сокровенных излияний того, что тяготит ум или сердце. Когда исповедь может становиться делом? Тогда, когда открывает она умысел, готовый к исполнению. Но если исповедь ограничивается одними мнениями, одними впечатлениями преходящими, как и самые события, то можно ли искать поводов к ответственности в сей исповеди, так сказать, не облеченной в существенность! Должно еще смотреть на лица, к кому письма написаны? Если они выказывают намерение действовать на эти лица или чрез них на другие и на общее мнение, если они в некотором отношении род поучений, разглашений, то предосудительность оных размеряется целью, на которую они метят. Но если письма, хотя и содержания неумеренного, надписаны к людям, коих лета, мнения, положение в обществе уже ограждают их от постороннего влияния, если они писаны к близким родственникам, к жене, то всякое злонамерение в написании оных не устраняется ли самою очевидностью? Одно нарушение тайны писем, писанных не для гласности, составляет их вину и определяет меру их ответственности; но нарушение оным совершается против воли писавшего: как же может он за них ответство-

вать? В таком случае если допустить нарушение тайны, то должно добросовестно судить о перехваченных письмах, и в таком случае могут служить признанием прямодушной, хотя неуместной откровенности, должно видеть в них иногда игру ума, склонного к насмешке, иногда игру желчи или раздражения нервов, невинный свербеж руки. Не заключить ли о них, о благородстве того, кто их пишет, и не признать ли их залогом его добросовестности и доверенности, которую заслуживает его характер? Я знал, что правительство имеет в руках своих частные письма, знаю, что мои чаще других попадают к нему, что я от них пострадал, а между тем продолжаю подавать орудие на себя. Что же это доказывает? Что я по совести своей убежден, что в письмах, каковы мои, нет преступления, что, чистый в побуждениях своих, я не забочусь о истолкованиях и превратных заключениях, к которым сии письма могут подать повод. Это неосторожно, но не преступно. Главная предосудительность сего поступка заключается в том, что кажусь своевольным и будто с намерением вызывающим на себя неудовольствие правительства, что не щажу лиц, к которым пишу и вообще своих приятелей, на коих может падать некоторая ответственность за связи со мною. Такие соображения должны внушить невыгодное мнение о неосновательности моей, легкомыслии и вообще повредить достоинству характера, которое каждый человек обязан соблюдать ненарушимо и свято. Сознание в сем отступлении от обязанностей своих может послужить зало-

гом, что впредь не буду преступать их. Затворю к себе окно, из которого выглядывала невоздержанность слов моих в наготе на соблазн прохожих. Что нет собственно порочной невоздержности в побуждениях и намерениях моих, кажется, достаточно доказано всею исповедью моею, приносимою ныне в виде покаяния и оправдания. В свою защиту прибавлю еще одно замечание, в изустной речи более непосредственного действия на внимание и круг действия обширнее: нет сомнения, что нашлось бы против меня столько же, если не более обличительных ушей, сколько нашлось обличительных глаз; но, сколько мне известно, речи мои не бывали обращаемы орудием на меня. Следовательно, я не искал никогда славы быть проповедником, провозгласителем своих мнений, хотя и знаю, что каждое слово изустное имеет тысячу эхов и между тем неуловимо, тогда как письменное слово действует одновременно на одно лицо и воплощается только тогда, когда предательскою силою может погубить вас. Признаюсь, однако же иногда в письмах своих дозволял себе и умышленную неосторожность. В припадках патриотической жельчи, при мерах правительства не согласных, по моему мнению, ни с государственною пользою, ни с достоинством русской нации, при назначении на важные места людей, которые не могли поддерживать высокого и тяжкого бремени, на них возложенного, я часто нарочно передавал сгоряча письмам моим животрепещущее соболезнование моего сердца: я писал часто в надежде, что правительство наше, лишенное

независимых органов общественного мнения, узнает, перехватывая мои письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего. Признаюсь, мне казалось, что сей голос не должен пропасть, а может возбудить чуткое внимание правительства. Пускай смеются над моим самоотвержением бесплодным для общей пользы, над сим добровольным мученичеством донкихотского патриотизма, но пускай также согласятся, что если оно не признак расчетливого ума, то по крайней мере оно несомненное выражение чистой совести и прямодушного благородства. Могу утвердительно сказать, что все мнения мои, самые резкие, были отголосками общего мнения, то есть в известной честной среде они имели невыраженный, но не менее того в существе своем гласный отголосок в общем мнении. Никогда, никакое чувство злобное, никакая мысль предательская, не омрачала моей нравственной жизни. В минуты досады, грустного разуверения в своих надеждах, я мог, по «авторской своей раздражительности», выходить из границ должного благоразумия и должного хладнокровия. Легко судить меня по письмам: но чем же я виноват что бог назначил меня быть грамотным, что потребность сообщать и выдавать себя посредством дара слова, или, правильнее, дара письменного, пала мне на удел в числе немногих из русских. Не мудрено, что те, к которым пристал стих Пушкина (а у нас

их много): нигде «ни пятнышка чернил», не замарали совести своей чернильными пятнами и что мои тем более на виду. Верю, что отблески мыслей должны казаться кометами в общем затмении русской переписки, в общем оцепенении умственной деятельности. Но неужели равнодушие есть добродетель, неужели гробовое бесстрашие к России может быть для правительства надежным союзником? А где есть живое участие, где есть любовь, там должны быть и увлечение и раздражительность? Мелкие прислужники правительства, промышляющие ловлею в мутной воде, могут, подтрушивая, ему передавать сплетни и отравлять их ехидною примесью от себя. Но правительство довольно сильно и должно быть довольно великодушно, чтоб сносить с благодарностию даже несправедливые укоризны, если они внушены прямодушием.

Кажется, сим может ограничиться моя исповедь: я выказал себя всего. Теперь правительство пускай ищет меня здесь, а не в неверных и отрывчатых изображениях, донныне ему известных. Если я хотел бы написать просто оправдание, адвокатную защиту себе, то, без сомнения, мог бы написать ее в ином виде, с большим искусством, с единым направлением к цели: оправдать себя. Чувствую, что и здесь многое из сказанного мною может подать повод к подтверждению заключения обо мне уже состоящего. Но я сказал выше, я всегда имел отвращение от шарлатанства и ханжества. Не хотел даже невинно притворствоваться в этом случае. Говоря

О том, что было, изъясняя себя, я должен был переноситься в мысли, которые мне тогда были свойственными, а не искать в риторических уловках противоречия самому себе, когда совесть моя не нуждалась в этом притворстве. Мне хотелось написать эту записку, как пишу свои письма, с умом на просторе, с сердцем наголо. В ней, так сказать, зеркало моей жизни, моих мнений, моей переписки, но зеркало не разбитое, не искривленное злонамеренностью. Надеюсь на беспристрастие моих судей, прошу их благоприятно или нет, но судить обо мне по этому изображению.

Еще одно слово. Мое устранение от службы, бездействие в приискании случая быть принятым в оную, после попытки моей, сделанной в Петербурге, и лестного отзыва, сообщенного мне генералом Бенкендорфом от имени государя, может навести подозрение на искренность желания моего быть совершенно очищенным во мнении правительства. Ссылаюсь на письмо мое к генералу Бенкендорфу, прося тогда быть употребленным при Главной квартире действующей армии или по какой-нибудь части отдельной, входящей в состав предстоящих дел, я был побуждаем не одним честолюбивым умыслом: нет, но лета, семейные обстоятельства, ограниченность моего состояния препятствуют мне в свободном избрании службы. Штатные места у нас доставляют малое жалованье, а служба, требующая постоянного пребывания в городе, неминуемо вовлекает в новые расходы: служба по одному из министерств вынудила бы меня переселить-

ся со всем семейством в Петербург, и тут также встречаю упомянутое неудобство. В мои лета, с непривычкою к службе практической тяжело было бы привыкать к ней, уединясь в каком-нибудь губернском городе: такая школа могла бы скорее отучить от службы, чем приохотить к ней.

Зная, на что я гожусь и на что неспособен, мог бы я по совести принять какое-нибудь место доверенное, где употреблен бы я был для редакции, где было бы более пищи для умственной деятельности, чем для чисто административной или судебной. Я когда-то сказал о себе: «я думаю, мое дело не действие, а ощущение. Меня должно держать как комнатный термометр, который не может ни нагреть, ни освежить покоя, но никто скорее и вернее его не почувствует настоящей температуры». Могу применить это наблюдение о себе и к службе моей: я не хотел бы по крайней мере на первый раз быть действующим лицом, в какой бы то ограниченной части ни было, а просто лицом советовательным и указательным, одним словом, хотел бы я быть при человеке истинно государственном служебным термометром, который мог бы и ощущать и сообщать. Могу отвечать за подвижность моей ртути, она не знала бы застоя. Беда вся в том, что у меня ее слишком много и что мой термометр не привилегированный. Впрочем, для устранения всякого подозрения обо мне, для изъявления готовности моей совершенно себя очистить во мнении я готов принять всякое назначение по службе, ко-

торым правительство меня удостоит⁹.

⁹ Эта записка по приказанию императора Николая была препровождена к цесаревичу в Варшаву. В Петербурге она, кажется, не произвела никакого действия на тех, для которых она писана. В Варшаве, вероятно, было другое. Вполне ли прочитана она была великим князем или нет, неизвестно. Но дело в том, что вскоре после того кн. Александр Федорович Голицын, приехавший из Варшавы в Москву и мало мне знакомый, начал разными обвиняками говорить мне, что ему известно, как желал бы цесаревич иметь письмо от меня, дабы мог он содействовать возвращению моему на службу. При всей заносчивости в. к. он имел много прямоты и благородства. Ознакомившись несколько с моею запиской, он мог убедиться, что я не так «черен», каковым кажусь некоторым господам. Легко стать, что он почувствовал, что слишком порывисто подействовал на судьбу мою. Как бы то ни было возобновлению сношений моих с ним и письмом его к государю обо мне обязан я поступлением моим снова на службу.